

Алексей Федорович Мерзляков

Нет сомнения, профессор А. Ф. Мерзляков, прославившийся и как поэт, и как литературный критик, и как воспитатель юношества в Московском университете и его Благородном пансионе и оставивший по себе благодарную память в первопрестольной столице, — одна из самых крупных и характерных фигур московской жизни десятих-двадцатых годов позапрошлого столетия. Ему были свойственны как выдающиеся достоинства, так и весьма значительные недостатки; его влияние на литературно одаренную молодежь Москвы было столь велико — и там, где оно сказалось, и в особенности там, где оно не сказалось, — его роль в жизни московского образованного общества годов была столь весома, что он заслуживает пристального внимания любого, кто обратится к тому периоду, когда М. Н. Муравьев был попечителем Московского университета, а Мерзляков — преподавателем словесности.

Алексей Федорович Мерзляков — в отличие от большинства поэтов его эпохи — не мог похвастаться дворянским происхождением; он родился в 1778 г. в городе Далматове Пермской губернии в семье небогатого купца Федора Алексеевича Мерзлякова. Начальное свое образование он получил в Пермском главном народном училище, директор которого, И. И. Панаев, стал его первым покровителем на поприще отечественной словесности. Первое сочинение тринадцатилетнего мальчика — «Ода на заключение мира со шведами» — было представлено пермскому и тобольскому генерал-губернатору Алексею Андреевичу Волкову; просвещенный начальник отправил оду главному начальнику народных училищ графу Петру Васильевичу Завадовскому, который, в свою очередь, поднес ее Императрице. По словам самого автора, «благодетельная Государыня приказала напечатать сие сочинение в издаваемом тогда при Академии журнале и сверх того несколько экземпляров особенно для сочинителя» (несмотря на архивные поиски, биографу Мерзлякова Степану Шевыреву не удалось найти текст).

Юноша был приглашен в Петербург или в Москву для продолжения наук по окончании училища за казенный счет; в 1793 г. он прибыл в Москву и был препоручен университетскому куратору Михаилу Матвеевичу Хераскову. В 1798 г. он становится бакалавром, и университетская конференция поручает ему преподавание в классах российской грамматики Академической гимназии, где он сам еще недавно учился. Мерзляков сближается с молодежью, воспитывавшейся в Благородном пансионе, и входит в Дружеское литературное общество, основанное Жуковским. Позднее в письме к последнему он так вспоминал об этом времени: «Друг мой! теперь видишь ты, сколько причин заставляло меня обращать внимание на сочинения наших писателей! И советы одного из них, знаменитейшего, блистающего и теперь на горизонте Словесности Российской с таким отличием <имеется в виду И. И. Дмитриев — С. Шевырев>, — и желание научиться, и желание быть по возможности полезным, и правила, которые приобрел я в незабвенном, — может быть, уже невозвратном для нас, любознательном обществе Словесности, где мы, поистине управляемые благороднейшею целию, все в цвете

юности, в жару пылких лет, одушевленные единым благодатным чувством дружества, не отравленным частными выгодами самолюбия, — учили и судили друг друга в первых наших занятиях; и жертвуя по видимому своими удовольствиями, между тем нечувствительно и скромно, исполненные патриотизма и любви к изящному, приготавливали себя на будущее наше служение. — Где ты, драгоценное время? где вы, друзья моей юности? — Они рассеяны по разным местам и путям службы!.. — Но утешимся в разлуке с ними! Они не изменили своим обетам; они помнят, помнят дружественную нашу школу, наши правила и цель: она сияет в их поступках и их сочинениях...» (Амфион, 1815, выпуск 1. С. 50).

В 1804 г. — когда проводилась реформа университета — Мерзляков стал магистром. Он занял уже кафедру русского красноречия и поэзии. Попечитель Михаил Никитич Муравьев высоко ценит его таланты и покровительствует молодому ученому и поэту: «архивные документы свидетельствуют о том, что он не только всячески заботился о научно-педагогической карьере Мерзлякова в университете, но и об отправке его в Берлинский, Геттингенский и Лейпцигский университеты «для усовершенствования в древней литературе» (Ф. А. Петров. Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования. Книга первая. Зарождение системы университетского образования в России. М., 1998. с. 231). Можно только пожалеть, что этого не произошло: более серьезная научная подготовка, возможно, привела бы к тому, чтобы вся жизнь поэта и критика сложилась иначе, и впоследствии не пришлось бы говорить студентам, что лекции по болезни профессора не будет. Приведем еще один отрывок из монографии: «Письмо Мерзлякова Жуковскому от 24 августа 1803 года свидетельствует о том, что первоначально он колебался в дальнейшем выборе профессии. “Я ограничил себя в рассуждении времени, которое должно мне пребыть в университете: год, два не больше и я — вольная птица”, писал Мерзляков, жалуясь на то, что ему трудно преподавать, что у него “на руках класс Антонского и часть класса Чеботарева”. И в то же самое время он надеялся “быть со временем путным профессором... нынешние мои университетские занятия полезны для меня. Может быть, никогда не принудил бы я себя столько прочесть, сколько прочитал в эти четыре месяца”. И в этом отношении очень важно было определить дальнейшую судьбу 25-летнего талантливого, но порой недостаточно организованного человека. Служебная переписка Муравьева с куратором Московского университета Коваленским и ректорами Чеботаревым и Страховым, хранящаяся в ЦГИА г. Москвы, позволяет говорить о том, как мягко и в то же время настойчиво попечитель направил будущую профессорскую карьеру Мерзлякова. В своих письмах 1803 г. Муравьев просит разрешить молодому преподавателю отпуск “для восстановления здоровья” (1 мая), просит выдать ему денежное пособие (15 сентября)... Муравьев содействовал тому, чтобы именно Мерзляков занял... кафедру, преобразованную по уставу 1804 года в кафедру красноречия, стихотворства и языка русского» (Книга вторая. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века, С. 49-50). В 1805 г. он был вызван попечителем в Петербург; имелось в виду пригласить его воспитателем к великим князьям, но он «не показался» в этом качестве (См. Ю. М. Лотман. А. Ф. Мерзляков как поэт. В кн.: А. Ф. Мерзляков. Стихотворения. Л., 1958. С. 40; в биографии, написанной Шевыревым, эта подробность отсутствует). В том же году он становится адъюнктом, в 1807-м — экстраординарным и в 1810-м ординарным профессором. Это была почти вершина его служебной карьеры; правда, в 1817-18 гг. и с 1821 по 1828 он был деканом словесного отделения, в 1817 г. получает орден Св. Владимира 4 степени, в 1820 г. был директором Педагогического института, а в 1822 г. — статским советником; но среди тех, кто восторженно отзывается о нем и для кого он стал идеалом преподавателя, запомнилась отнюдь не его административная деятельность, хотя и ее забывать не следует (см. Ф. А. Петров: «Мы пришли к выводу о несправедливости умаления заслуг Мерзлякова по руководству отделением словесности во второй половине 1810-х — 1820-е годы (с 1820 г. он одновременно с деканством избирался директором Педагогического института), что,

безусловно, объяснялось его особым педагогическим талантом, органически сочетавшимся с ораторским искусством и поэтическим даром» — Ф. А. Петров. Формирование системы университетского образования в России в первой половине XIX века... С. 30). Для учеников он был прежде всего поэтом, ученым и критиком.

Поэтические таланты Мерзлякова бесспорны; но столь же бесспорна их ограниченность. «Среди долины ровныя» — заслуженно известное произведение; кроме него, у Мерзлякова есть немало сильных и запоминающихся строф (хотя ни о каком сравнении с такими фигурами, как Батюшков или Козлов, речи быть не может). Он не был чужд новаторских идей и первым обратился в эту эпоху к скомпрометированному Тредьяковским гекзаметру; однако пристрастие Жуковского к этому размеру спровоцировало его на странный поступок: он прочел в заседании московского Общества любителей русской словесности письмо о гекзаметре, выдав его за сочинение, поступившее из Сибири; А. А. Прокоповичу-Антонскому с большим трудом удалось примирить двух поэтов (См. об этом М. А. Дмитриев. Московские элегии. М., 1985. С. 247-248). К. Н. Батюшков жестоко высмеял его в «Видении на берегах Леты», назвав «педантом» и вложив ему в уста такие слова:

Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Вергилия,
Алкею укоротил крылья.

Однако не следует воспринимать эту оценку буквально, не принимая в расчет жанровых особенностей: как свидетельствуют многочисленные реплики в письмах, знаменитый поэт вовсе не так сурово ценил творчество своего собрата по перу.

Об уровне филологической компетентности Мерзлякова свидетельствуют такие реплики в его предисловии к сборнику переводов из античной поэзии: «Смотрите, кто, например, отличен в Илиаде? Не сей ли Гектор доблестный, всегда себе равный... Не сия ли Ифигения, увлекаемая к жертвеннику честолюбивым отцом, разделяемым между обязанностью царя и любовью родительскою? — Не сия ли Поликсена, под самым кинжалом изумляющая величием души своей?» (О начале и духе древней трагической поэзии и о характерах трех греческих трагиков, в кн.: Подражания и переводы...). Безусловно, Мерзляков был увлечен знаменитой репликой Эсхила (трагедия — крохи со стола Гомера), но ученый, пишущий о жертвоприношении Ифигении и Поликсены в «Илиаде», весьма рискует своей научной репутацией. Совершенно непонятно, что имеет в виду Мерзляков в своем разборе «Россиады», сравнивая описание предзнаменований с «Фарсалией»: «Этого описания нельзя конечно сравнить с подобным же Лукана (явления перед смертью Цезаря); но стихи, кажется, *достойны бы* были внимания Г-на Сов. Набл.». Лукан, как известно, не довел свою поэму до конца, остановившись на египетских событиях; не имеет ли в виду Мерзляков заключение I книги — явления перед вступлением Цезаря в Рим? Или в другом месте: «Недостаток ясности отнял очень много славы у Поэмы Лукана, и весьма многих Стихотворцев, одаренных великими талантами, сделал, так сказать, при богатстве бедными: они трудились, собирали; их не читали; современники (не говорю о потомках), заметив, от чего их неудача, вздумали ею воспользоваться: *из той же муки печь свои хлебы*, — и слава осталась за пекарями, а о хозяевах все забыли». Это совпадает с ходячими, распространенными в школьных кругах воззрениями из вторых рук.

Вообще во всем цикле писем о «Россиаде» чувствуется знакомство с «Освобожденным Иерусалимом» Торквато Тассо, параллели с которым приводятся довольно часто, но не чувствуется — даже и в самых очевидных случаях — внимания к античной эпике, прежде всего к Вергилию. В связи с этим не ясна оценка Лотмана: «Интерес к подлинной жизни древнего мира заставляет изучать систему стиха античных поэтов и искать пути его адекватной передачи средствами русской поэзии. Внося в интерес к античности требования этнографической и

исторической точности, Мерзляков расходился с классицизмом» (Ор. cit. С. 44). Интересно, что С. А. Кибальник в своей книге «Русская антологическая поэзия первой трети XIX века» (Л., «Наука», 1990) на с. 19 (прим. на с. 29) соглашается с этим тезисом, а на с. 34 (прим. на с. 86) спорит с ним). Этот неверный тезис об «этнографической и исторической точности», к сожалению, играет в статье Лотмана весьма значительную роль; ее основная мысль о противостоянии «разночинца» Мерзлякова «аристократу» Пушкину верна, но сам характер противостояния освещается не вполне точно. Что же касается знакомства Мерзлякова с античной литературой, мы можем признать его не более чем посредственным, хотя о полном невежестве, конечно, речи не идет. Когда наш критик писал разбор «Россиады», ему было 36-37 лет — это не тот возраст, когда от человека можно требовать подробного знакомства со всем корпусом даже и наиболее выдающихся произведений. Недостаток научных методов отмечает и Шевырев: «Историческое изучение словесности осталось совершенно чуждо Мерзлякову. <...> Мерзлякова нельзя в том обвинять: хотя в его время и приготовлено было много материалов для истории словесности, но в общей системе науки ее влияние еще не так сильно обнаружилось» (Биографический словарь..., т. II. С. 67).

Прежде чем перейти к обзору того, что говорил Мерзляков студентам и пансионерам с кафедры, вкратце опишем его публичную деятельность. Он был действительным и самым деятельным членом Общества любителей Российской словесности; не было собрания, где он не читал бы стихов или прозы. В 1812 г. в доме князя Бориса Владимировича Голицына на Басманной он прочел публичный курс словесности, на котором присутствовали знаменитейшие особы столицы. Всего состоялось десять бесед; нашествие неприятеля и последовавшая затем смерть князя от ран, полученных в Бородинском сражении, воспрепятствовали завершению чтений (Содержание всех десяти чтений — ВЕ, 1812, т. 2, 228, и 3, 59. Текст первых четырех бесед — *ibid.*, пятой — Амфион, Москва, 1815 г., июль, 72-120. Реконструкция лекционного курса и подборка эстетических работ: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века, т. 1, М., 1974, сост. вступительная статья и примечания З. А. Каменского). К этому начинанию Мерзляков смог вернуться только в 1816 году.

Приведем любопытное объявление в «Амфионе» о возобновлении чтений: «Прекращая издание Амфиона нынешним годом, намерен я возобновить немедленно *Публичные Чтения свои о Словесности*, начатые мною в 1812 году, и прерванные несчастным вторжением в Москву неприятеля. Лестные отзывы многих почтеннейших Особ о прошедших Чтениях, и ободрительное желание, чтоб я продолжал их, принуждают меня остающееся время от службы, посвятить на сие дело. Порядок и образ Чтений будет тот же, как и прежде. Повторив сокращенно общие правила о Красноречии и Поэзии, займусь я изложением правил различных родов сочинений; также чтением и разбором знаменитейших Российских Писателей. — Для сего назначен один день в неделю, суббота. — Заседания открываются в 1. часу по полудни, в доме Ее Превосходительства, Аграфены Федоровны Кокошкиной, бывшем прежде Графа Мамонова, против церкви Бориса и Глеба. — Полный курс Чтений продолжится до Июня месяца. Естьли скоро соберется достаточное число Слушателей, то я могу начать его в течении сего же месяца. Цена билету за 24 чтения, или полный курс полагается 50 рублей.

Смею ласкать себя надеждою, что почтеннейшие Любители и Любительницы Российской Словесности удостоят меня и ныне благосклонного Своего посещения; при сем всепокорнейше прошу поскорее уведомить меня о своем желании, дабы я немедленно, судя по числу Слушателей, мог взять нужные меры, как в рассуждении залы, так и в предуготовительном расположении работ своих. Употреблю все мои силы, дабы заслужить благосклонное внимание почтеннейшей Публики, и особенно, быть полезным молодым охотникам до Словесности, которых, или должность, или другие занятия отвлекают от слушания Лекций Университетских. — Зная, что я говорить должен пред Слушателями, искушенными уже в главнейших началах науки и вкуса, постараюсь, чтобы мои Чтения, сколько можно, более чужды были сухости обыкновенных Лекций, впрочем иногда

необходимой. — Сообразно существу преподаваемого мною искусства, первое попечение мое будет — соединить, по силам своим *приятное с полезным*. *Императорского Московского Университета Профессор Алексей Мерзляков*» (1815, 10-11. С. 185-188). Курс на этот раз имел более «эмпирический» характер: по кратком изложении теории Мерзляков представил «практические разборы знаменитейших Российских стихотворцев во всех родах сочинений, в которых наиболее наша Поэзия успела» (Биографический словарь..., II, с. 63). К. Н. Батюшков высоко оценил эти чтения: «Мерзляков читает и, право, хорошо. Я слушал его с большим удовольствием». (<Письмо> В. А. Жуковскому от 20-21 марта 1816 года. Москва. СС в 2-х тт., т. 2, М., 1989, с. 381).

Что касается университетского риторического преподавания, то основным источником для Мерзлякова послужила работа Эшенбурга «*Entwurf einer Theorie und Litteratur der sch nen Wissenschaften*». Его собственные теоретические сочинения следуют образцу в основных правилах, «почти слово в слово переводя» его; однако Шевырев обнаруживает и существенные различия: Мерзляков вместе с Батте считает основным началом искусства подражание изящной природе; Эшенбург, вместе с родоначальником научной эстетики и автором самого термина Баумгартеном, считает это недостаточным и выставляет в качестве такового «чувственное совершенство, представленное искусством и напечатленное на предметах нашего ощущения». Однако сама по себе теория словесности, где Мерзляков вовсе не был самостоятельным ученым и нисколько не претендовал на это, — теория, главным недостатком которой молодой его слушатель, надежда русской поэзии и философии Дмитрий Веневитинов справедливо считал «недостаток теории» (Веневитинов Д. В. Разбор рассуждения г. Мерзлякова о начале и духе древней трагедии и проч., напечатанного при издании его подражаний и переводов из греческих и латинских стихотворцев. В кн.: ПСС, под ред. А. П. Пятковского, СПб., 1862. С. 182), — не привлекла бы к нему сердца слушателей и не оставила бы следа в истории отечественной культуры. Пламенно любящий русскую поэзию Мерзляков заражал студенческую и пансионскую молодежь своей любовью и преданностью. В системе университетского преподавания до Мерзлякова (не только в самом университете, но и, конечно, в гимназиях) было принято не отделять друг от друга русскую и латинскую риторику. Мерзляков нарушил эту традицию, сконцентрировав внимание на отечественном красноречии и словесности; в этом, может быть, одна из причин его популярности.

Для взглядов Мерзлякова на предмет и задачу риторики характерно то, что он подчиняет философию словесности, а словесность — морали: «Под словом языка, в пространном смысле, понимать надобно все правила речи, составляющие теперь три особенные науки: Логику или Диалектику, которая учит думать, рассуждать и выводить заключения правильно, связно и основательно, — Грамматику, которая показывает значение, употребление и связь слов и речей, — и Риторику, которая подает правила к последовательному и точному изложению мыслей, к изящному и пленительному расположению частей речи, сообразно с видами каждого особенного рода... Цель риторики, как теории всех прозаических сочинений, не ограничивается убеждением и доказательствами. В противность древним и некоторым новейшим учителям, мы понимаем под сим словом науку научать наш разум и занимать воображение, или трогать сердце и действовать на волю». Красноречие «всем вообще наукам доставляет новые достоинства и прелести. <...> Оно дает самой истине большую силу убедительности, и самым страстям больше выражения и трогательности; оно образует наши нравы. Красноречие обращается в искусство безнужное и вредное, когда оставляет благородную цель свою, т. е. когда оно устремлено будет не к выгодам истины и добродетели, но к распространению заблуждения и пороков; когда оно решится защищать правила и мнения, противные чистой нравственности, или будет одевать предметы, сами по себе пагубные и соблазнительные, в одежду приятную и благовидную, чтобы заманить в свои сети неопытный и ослепленный ум читателя, или слушателя. И так не красноречие, но его употребление навлекло на себя справедливые укоризны в древности и в новейшие времена; злоупотребление всегда будет

порицаемо, между тем как наука беспрестанно приводится к совершенству, беспрестанно сияет в новом, немеркнувшем свете» (Краткая риторика, или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических, изданная для благородных воспитанников Московского университетского пансиона профессором А. Мерзляковым. М., 1828 (4-е изд.). С. 5 и слл). Профессор полагал, что «произведения изящных искусств, как предмет чувствования и вкуса, не подвержены строгим правилам и не могут, кажется, иметь постоянной системы, или науки изящного», видя выход из тупика в «критике вкуса» (Краткое начертание теории изящной словесности. Часть первая. Пиитика. М, 1822. С. 5). Здесь он самостоятелен: как метко замечает С. П. Шевырев, «это говорит не Эшенбург, а Мерзляков». Строгость французского классицизма ему, конечно, ближе, чем немецкие попытки поставить эстетику на широкую философскую основу: «логику и диалектику» Мерзляков, как мы уже видели, рассматривает как средство выстраивать свою речь более убедительно и чисто — и успешно внушает эту мысль пансионской молодежи. Но и в правилах он усматривает элемент иррациональности — инстинктивно безошибочно чувствуя природу *творчества*. Не будучи любителем систем, он говорил своим слушателям: «Вот где система!», указывая на сердце (Биографический словарь..., с. 72 со ссылкой на «Телескоп», № 5, 1831 г.). Таким образом, упреки Шевырева в невнимании к общефилософской проблематике и — далее — в отсутствии исторического подхода — прежде всего истекают из собственной германской ориентации последнего.

Вот что пишет один из его самых благодарных слушателей, М. П. Погодин, многим обязанный ему и в своей научной карьере: «Самое сильное впечатление производил Мерзляков. Лекций в продолжении трех лет прочел он не много, но всякое его слово, от души сказанное, западало в душу, и навсегда в ней оставалось. Благоговение к Ломоносову и Державину возбудил он вскоре такое, что они сделались для студента почти столько же любезными и дорогими, как Карамзин. „Из рыбацкой хижины шагнул в Академию, и спорит с Франклином, кто из них скорее обезоружит громоносного Юпитера...“ (Вестник Европы, ч. LXVI, № 21-22, 1812, с. 29 — А. Л.). Эти слова Мерзлякова о Ломоносове отпечатались кажется в сердце у всех студентов, его слушавших. А что за торжество было в аудитории, когда Мерзляков разбирал *Водопад* Державина!

Но не с одним Ломоносовым и Державиным знакомил Мерзляков студентов. Херасков, Сумароков, Княжнин, Озеров и прочие классические писатели, были изучены подробно и основательно. К ним присоединялись разборы студенческих упражнений, коими Мерзляков значительно развивал вкус и приучал к критике. Эти лекции были самыми занимательными, но прекрасно говорил Мерзляков, хоть и по старым теориям, о прекрасном, о высоком, о чувствительном, о поэзии, о драме, о страстях!» Погодин припоминает одну из последних лекций: «“Вышла, господа, новая поэма, молодого нынешнего поэта, Лорда Байрона Шильонский узник, переведенная по-русски Жуковским. Мы займемся ее разбором в следующий раз”. Весь Университет взволновался и, считая минуты, ожидал этого следующего раза. Лишь только кончилась лекция, предшествовавшая Мерзлякову, в 5 часов, и вышел профессор из аудитории, как студенты со всех сторон бросились туда, точно на приступ, спеша занять места. Медики, математики, о словесниках и говорить нечего, юристы, кандидаты, жившие в Университете, — все явились в аудиторию, которая наполнилась в минуту народом сверху донизу, по окошкам, даже под верхними лавками амфитеатра. Мерзляков должен был продираться через толпу. Какое молчание воцарилось, когда он сел наконец на кафедру! Все дрожали, сердце билось, слух был напряжен, и он начал: “Что это за лице рассказывает о своем положении! Каких слушателей у него должны мы себе представить? Почему предполагает он их участие? Что за странность рассказывать без всякого вступления или предупреждения? Что за выражение: тюрьма разрушила? Как она разрушила, если он еще может говорить: разрушить можно здание, но человек разрушен быть не может. Вот эти модные поэты! Не спрашивайте у них логики! Они пренебрегают языком”» (автобиографическая статья в Биографическом словаре..., т. II. С. 235-236).

Ср. также «Жизнь и труды М. П. Погодина» Н. Барсукова: «Слава его утвердилась около времени нашествия французов. “Какую бы славу имел этот человек, если бы умел жить в свете”». Вот Мерзляков разбирает басню «Дуб и трость»: «Что скрывается за стихом “Но только Фебовы лучи пересекают?” спрашивал Мерзляков и отвечал: “Вельможи заслоняют так от государей нуждающихся подданных”. Окончив разбор, Мерзляков сказал своим слушателям: “Так, господа, разбирайте; поверьте, я научу вас разбирать благородно, так, как должно”. “Какая откровенность, — замечает по этому поводу Погодин, — добрый человек! Если бы ему 10.000 в год, что бы он сделал! Такими-то разборами он и должен занимать нас. Так только и должен учить, какой ни на есть словесности. А Риторика одна к чему полезна...”» (Т. 1. СПб., 1888. С. 40).

Мерзляков продолжил преподавание в Пансионе, даже став ординарным профессором. «Объявление» 1812 г. представляет его курс следующим образом: «Алексей Федорович Мерзляков, *Красноречия и Поэзии Профессор Ординарный*, изъяснит привила *Поэзии и Руского слога*; прочтет теорию *Красноречия и Изящных Наук*, по руководству Г. Эшенбурга и дабы утвердить более учащих в хорошем Вкусе и Словесности, будет разбирать *критически* образцовые творения Российских и Латинских Писателей. Он постарается более всего приучить слушателей к правильному, чистому и легкому слогу, и для того будет чаще заниматься собственными их *сочинениями в стихах и прозе*» (с. 24). Не менее тепло отзываются о своем профессоре выпускники Пансиона: М. А. Дмитриев и Н. В. Сушков.

Дмитриев вспоминает в «Мелочах из запаса моей памяти»: «Я помню уважение наше, смею сказать, благоговение к Мерзлякову. — Оно было таково, что мы могли бы выразить его словами учеников Пифагора: *учитель сказал*; ибо что он сказал, было для нас неопровержимо. — Чем объяснить это? — полною доверенностию к его знанию и к его прямому характеру. <...> Я слушал его лекции и в университете (1813-17). Надобно сказать, что здесь он посещал их лениво, приходил редко; иногда, прождавши его с четверть часа, мы расходились. <...> Его одна лекция приносила много и много плодов, которые созревали и без его пособия; его разбор какой-нибудь одной оды Державина или Ломоносова открывал так много тайн поэзии, что руководствовал к другим дальнейшим открытиям законов искусства! Он бросал семена, столь свежие и в землю столь восприимчивую, что ни одно не пропадало, а приносило плод сторицею» (Московские элегии. М., 1985. С. 241-242). Ср. в «Главах из воспоминаний моей жизни»: «Он преподавал нам теорию словесности <в пансионе — А. Л.>, по известным французским теориям Ле-Батте и других, но главное, занимал нас подробным изучением русских писателей, то есть поэтов... Эти разборы были верны, подробны и обильны плодами разных сведений: в них заключалась и история поэзии в применении к истории времен, и теория в применении к образцам; обзор и целостности идеи, и подробностей, как в плане, так и в исполнении. Это был, несмотря на ложность французской теории, художественный курс поэзии. У Мерзлякова как мало было вкуса в собственных произведениях, так много художественного такта в критических разборах. Он был не красноречив и имел недостаток в выговоре и произношении, но когда входил в восторг, а он без восторга не мог говорить о великих поэтах, тогда незаметен был его недостаток...» (М., 1998. С. 67).

Сушков пишет: «Приземистый, широкоплечий, со свежим, открытым лицом, доброй улыбкой, приглаженными в кружок волосами с пробором вдоль головы, уроженец холодной Сибири... был горяч душой и кроток сердцем. <...> В чопорных собраниях Мерзляков был странен, неловок, молчалив. А где он мог быть запросто, там и разговор его был всегда жив, свободен, увлекателен... Поправляя те из стихотворений своих учеников, которые он признавал лучшими, он щедро пересыпал их своими прекрасными строчками, иногда совершенно переделывал, порой оставлял только форму, мысль, господствующее в них чувство. — Любя всеми силами своей поэтической души русский язык, русскую словесность, русскую поэзию, поддерживая, поощряя едва возникающий талант в каждом из нас, он не пренебрегал и нашими детскими изданиями...» (Сушков. С. 88 и сл.).

Воспоминания современников рисуют Мерзлякова человеком мало светским, теряющимся в обществе, и не слишком скрупулезным в исполнении своих обязанностей — блестящим импровизатором, который никогда не готовился к лекциям, открывал книгу в любом месте и начинал блистательный разбор. Шевырев свидетельствует: «Последние лекции Мерзлякова состояли, по большей части, в критических импровизациях. Он к ним не готовился. Приносил на кафедру Ломоносова или Державина, развертывал. Случай открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. <...> Эти импровизации, приводившие иногда в восторг его слушателей, запечатлевались в их памяти. Светлая мысль, искра чувства электрически оживляли всю аудиторию». Ср. также общую характеристику: «Мерзляков был мужчина невысокого роста, широкоплечий и плотный; грудь имел широкую, голову большую. Волосы на ней были обстрижены почти в кружало. Из-под густых бровей и длинных ресниц светились серые глаза, исполненные огня и жизни. Лицо овальное, но скулы выпуклые, рот широкий; нижняя губа несколько выдавалась, особенно во время чтения. Орган голоса его был густ, громок, но не совсем явствен. Стихи читал он нараспев, иногда усиливая, иногда смягчая звуки голоса. В молодых годах бывал он душою беседы товарищей. Мы же видали его уже почтенным гостем на больших обедах, оратором за столом и в гостиной, которого, как авторитет, собеседники слушали с уважением. Душа его была простая, незлобивая, мягкосердечная, но пылкая. Зла, конечно, он никогда никому в жизни не сделал, и только удалялся от тех, которые его замышляли. Студенты его любили, и как профессора, и как человека, потому что он входил в их нужды — и сам, будучи воспитан нуждою, понимал и уважал бедность, как возбудительницу дарования». Д. Н. Свербеев вспоминал Мерзлякова-преподавателя в самый лучший, блестящий период его деятельности (Из воспоминаний. Московский университет в воспоминаниях современников. 1755-1917. М., 1989, с. 66. — Д. Н. Свербеев поступил в университет в 1813 году): «У Мерзлякова было более таланта, чем постоянства и прилежания в труде... В его преподавании особенно хромал метод. К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился; сколько раз случалось мне, почему-то его любимцу, прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции; тогда второпях начинал он пить из огромной чашки ром с чаем и предлагал мне вместе с ним пить чай с ромом. “Дай мне книгу взять на лекцию”, — приказывал он мне, указывая на полки. “Какую?” — “Какую хочешь”. И вот, бывало, возьмешь любую, какая попадет под руку, и мы оба вместе, он, восторженный от рома, я навеселе от чая, грядем в университет. И что же? Развертывается книга, и начинается превосходное изложение.

Какого бы автора я ему ни сунул, автор этот втесняется во всякую рамку последовательного его преподавания; и басня Крылова, если она подвернется, не мешала Мерзлякову говорить о лиризме, когда в порядке, им задуманном, нужно было говорить о лириках». Эта своеобразная духовная неряшливость (в данном случае подчеркнутая небрежным отношением к жанровой теории — душе поэтики классицизма) под влиянием неблагоприятных обстоятельств сильно прогрессировала в последние годы жизни профессора, расставшегося с окружением своей молодости (Жуковский, Батюшков) и привыкшего к гораздо более «демократичному» обществу (особенно явным это расхождение стало после женитьбы в 1815 году на Любови Васильевне Смирновой). Филипп Ларионович Ляликов (позднее инспектор Рязанской гимназии и Одесского учебного округа), бывший студентом Императорского Московского университета в 1818-22 гг., вспоминал о Мерзлякове: «Лице знаменитое, симпатичное, доброе. Бывало не увидишь, как пролетает лекция. Но непостижимо, такой человек не мог победить в себе страсти к вину... Бывало, придешь в аудиторию, дежурный кандидат говорит, что лекции по болезни Алексея Федоровича не будет. Мы знали, какая это болезнь. <...> Для составления моего аттестата я собирал об успехах отзывы у профессоров. Прихожу и к Мерзлякову. Вхожу в зал. Алексей Федорович в синем китайчатом халате сидит на подоконнике босиком, свесив ноги. Я объяснился и получил желаемое» (Ф. Л. Ляликов. Студенческие воспоминания. 1818-1822. Русский Архив, 1875, стлб. 384). Ср. также погодинское свидетельство у Барсукова:

«Внимание к нему слабело, а нужда житейская увеличивалась. Его отчасти поддерживали частные уроки молодым людям, которым нужно было держать так называемый комитетский экзамен. Меценатом ему оставался знаменитый в то время подрядчик Военного министерства Варгин, которому писал он разные бумаги. Мерзляков обедал у него однажды в неделю и... возвращался от него обыкновенно уже “взволнованным”» (Н. Барсуков. *Op. cit.* С. 44). Таковы же впечатления А. Д. Галахова: «Преподавание Мерзлякова уже слабо напоминало прежний блеск его лекций. Не одно то, что он упрямо стоял на лжеклассической теории искусства, отбивало от него слушателей, но и то, что он равнодушнее относился к своему делу, очень часто манкировал, а иногда приходил в аудиторию навеселе. Может быть, эта искусственная веселость лучше развязывала ему язык, но его красноречие — он сам не замечал этого — приходилось в ущерб содержанию.

Слушатели замечали это, хотя все еще любили некогда знаменитого профессора за его доброе к ним отношение, за его всегдашнюю готовность оказать свое заступничество в случае какого-нибудь казуса» (Записки человека. М., 1999. С. 80-81). Интересный разговор передает С. П. Жихарев в «Дневнике студента» (Записки современника, Л., 1989 г., т. 1. С. 213): «Твое восклицание годилось бы в заказную речь для пансионского акта, а за приятельским ужином оно не у места; талант, любезный, не проложит пути к счастью, а славу надобно выстрадать. — Не всегда, Алексей Федорович, возразил дотоле молчавший, скромный Василий Иванович, — не всегда: большею частию талант сопровождается общим уважением, и рано или поздно зависть и недоброжелательство должны заплатить дань истинному достоинству и смириться перед ним. — А до тех пор, почтеннейший отче, можно десять раз умереть с голоду; но впрочем, говоря о счастье, я понимал его так, как привыкли понимать его в свете, и повторяю, что счастье и талант — несогласимые противоречия; дело другое в отношении духовном: и я постигаю, что настоящее счастье состоит в одном только исполнении своих обязанностей к Богу и ближним, каких бы оно самопожертвований ни требовало. — Но другого счастья на земле и нет, любезнейший Алексей Федорович; все прочее, что называют счастьем, есть не что иное, как только удовлетворение страстей. — Согласен, Василий Иванович, очень согласен с вами; но для того, чтобы находить счастье в самопожертвовании, надобно возродиться духовно, а покамест мы не удостоились сей благодати, страсти останутся солью жизни, и она без них будет безвкусна». Кроме того, и новое поколение далеко не так тепло принимало его взгляды. Вот свидетельство Белинского, слушавшего профессора в последний год его жизни: «Он преподавал Теорию Изящного, и между тем эта теория оставалась для него неразгаданною загадкою во все продолжение его жизни; он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика... И этот человек, который был знаком с немецким языком и литературою, этот человек, с душою поэтической, с чувством глубоким — писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил с кафедры, что “только чудотворный гений немцев любит выставлять на сцене виселицы”, находил гений в Сумарокове и был увлечен, очарован поддельною и нарумяненною поэзиею французов в то время как читал Гете и Шиллера! Он рожден был практиком поэзии, а судьба сделала его теоретиком...» (Цит. по: М. Поляков. Студенческие годы Белинского. В кн.: Литературное наследство. Т. 56. В. Г. Белинский (2). М., 1950. С. 322. Ср. отзыв Мерзлякова о Пушкине в интерпретации Белинского: «Мы сами слышали однажды, как глава классических критиков, почтенный, умный и даровитый Мерзляков, сказал с кафедры: “Пушкин пишет хорошо, но Бога ради, не называйте его сочинений поэмами!” Под словом поэма классики привыкли видеть что-то чрезвычайно важное» (*ibid.*)). Деградация шла стремительно, и умер Мерзляков 26 июля 1830 года — далеко не старым еще человеком. И. И. Дмитриев в «Москвитянине» от 8 августа так описывает его погребение: «Мы лишились Мерзлякова. Я был у него на погребении в Сокольниках. Прекрасное утро; сельские виды; повсюду зелень; скромный домик, откуда несли его в церковь; присутствие двух архиереев, трех кавалеров с звездами... и подле гроба, на подушке, один только крестик Владимира: все как-то сказывало, что погребают поэта!» (Сушков. С. 99.)

Пушкин в письме к П. А. Плетневу от 26 марта 1831 г. суммирует свои университетские впечатления: «Погодин очень, очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности. Его надобно поддержать, также и Шевырева, которого куда бы не худо посадить на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного невежды. Это была бы победа над университетом, т. е. над предрассудками и вандализмом» (ПСС., М., 1954, т. 9. С. 1).

Выше я уже рассматривал научные возможности Мерзлякова и пришел к крайне неутешительным для него выводам. Однако Пушкин, несомненно, имеет в виду другое — непонимание словесного искусства как предмета теоретического и критического анализа, доктринальность взгляда, сориентированного на устаревшие образцы. «Классиком» Мерзлякова можно назвать лишь условно: его разночинский стиль и пафос, противостоящий аристократическому пушкинскому, не имеет ничего общего с утонченным французским классицизмом XVII-XVIII столетий. На поверхности Мерзляков — эпигон поэтики Горация (чью *De arte poetica* он переводил) и Буало; по сути он гораздо ближе прекрасномудушным интеллигентам сороковых-пятидесятых годов, современникам Белинского (значение последнего только и состоит в том, что он был адекватным выразителем их предрассудков). Он занимал исключительно важный боевой пост — профессор эстетики Московского университета имел возможность и должен был подействовать тому, чтобы хрупкая и утонченная культура русского дворянства рубежа столетий смогла закрепиться на более широкой почве и творчески воспринять и переработать влияние как древней, так и новой поэзии; он не сумел этого сделать; историю он заменил «правилами», а систему — «сердцем». Именно это имеет в виду Пушкин, рекомендуя Шевырева: тот представляет *исторический* подход, основанный на прочном фундаменте германской философии, и к тому времени он уже зарекомендовал себя блестящим исследованием о Данте. Для того, чтобы нести это бремя, требовались таланты, далеко превосходящие мерзляковские; когда на этот пост заступили гораздо более образованные и компетентные Шевырев и Давыдов, было уже поздно. Однако — и этого нельзя забывать — не в одном юном сердце он заронил любовь к русской поэзии и желание по мере сил служить ей собственными трудами; своей не сложившейся жизнью, своей сиротливой смертью он давал пример такого бескорыстного служения. И поэтому у позднейшего историка не поднимется рука бросить в него камень.

